

Владимир Короленко

Парадокс



Владимир Галактионович Короленко

Парадокс

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2572185

Аннотация

«Для чего собственно создан человек, об этом мы с братом получили некоторое понятие довольно рано. Мне, если не ошибаюсь, было лет десять, брату около восьми. Сведение это было преподано нам в виде краткого афоризма, или, по обстоятельствам, его сопровождавшим, скорее парадокса. Итак, кроме назначения жизни, мы одновременно обогатили свой лексикон этими двумя греческими словами...»

Содержание

I	4
II	7
III	9
IV	14
Примечания	16

Владимир Галактионович Короленко

Парадокс

Очерк

I

Для чего собственно создан человек, об этом мы с братом получили некоторое понятие довольно рано. Мне, если не ошибаюсь, было лет десять, брату около восьми. Сведение это было преподано нам в виде краткого афоризма, или, по обстоятельствам, его сопровождавшим, скорее парадокса. Итак, кроме назначения жизни, мы одновременно обогатили свой лексикон этими двумя греческими словами.

Было это приблизительно около полудня знойного и тихого июньского дня. В глубоком молчании сидели мы с братом на заборе под тенью густого серебристого тополя и держали в руках удочки, крючки которых были опущены в огромную бадью с загнившей водой. О назначении жизни, в то время, мы не имели еще даже отдаленного понятия, и, вероятно, по этой причине, вот уже около недели любимым нашим занятием было – сидеть на заборе, над бадьей, с опущенными в нее крючками из простых медных булавок и ждать, что вот-вот, по особой к нам милости судьбы, в этой бадье и на эти удочки клюнет у нас «настоящая», живая рыба.

Правда, уголок двора, где помещалась эта волшебная бадья, и сам по себе, даже и без живой рыбы, представлял много привлекательного и заманчивого. Среди садов, огородов, сараев, дворишков, домов и флигелей, составлявших совокупность близко известного нам места, этот уголок вырезался как-то так удобно, что никому и ни на что не был нужен; поэтому мы чувствовали себя полными его обладателями, и никто не нарушал здесь нашего одиночества.

Середину этого пространства, ограниченного с двух сторон палисадником и деревьями сада, а с двух других пустыми стенами сараев, оставлявшими узкий проход, занимала большая мусорная куча. Стоптаный лапоть, кем-то перекинутый через крышу сарая, изломанное топорище, побелевший кожаный башмак с отогнувшимся кверху каблуком и безличная масса каких-то истлевших предметов, потерявших уже всякую индивидуальность, – нашли в тихом углу вечный покой после более или менее бурной жизни за его пределами... На вершине мусорной кучи валялся старый-престарый кузов какого-то фантастического экипажа, каких давно уже не бывало в действительности, то есть в каретниках, на дворах и на улицах. Это был какой-то призрачный обломок минувших времен, попавший сюда, быть может, еще до постройки окружающих зданий и теперь лежавший на боку с приподнятой кверху осью, точно рука без кисти, которую калека показывает на паперти, чтобы разжалобить добрых людей. На единственной половинке единственной дверки сохранились еще остатки красок какого-то герба, и единственная рука, закованная в стальные нарамники и державшая меч, высывалась непонятным образом из тусклого пятна, в котором чуть рисовалось подобие короны. Остальное все распалось, растрескалось, облупилось и облезло в такой степени, что уже не ставило воображению никаких прочных преград; вероятно, поэтому старый скелет легко принимал в наших глазах все формы, всю роскошь и все великолепие настоящей золотой кареты.

Когда нам приедались впечатления реальной жизни на больших дворах и в переулке, то мы с братом удалялись в этот уединенный уголок, садились в кузов, – и тогда начинались здесь чудеснейшие приключения, какие только могут постигнуть людей, безрассудно пус-

кающихся в неведомый путь, далекий и опасный, в такой чудесной и такой фантастической карете. Мой брат, по большей части, предпочитал более деятельную роль кучера. Он брал в руки кнут из ременного обрезка, найденного в мусорной куче, затем серьезно и молча вынимал из кузова два деревянных пистолета, перекидывал через плечо деревянное ружье и втыкал за пояс огромную саблю, изготовленную моими руками из кровельного тесу. Вид его, вооруженного таким образом с головы до ног, настраивал тотчас же и меня на соответствующий лад, и затем, усевшись каждый на свое место, мы отдавались течению нашей судьбы, не обмениваясь ни словом!.. Это не мешало нам с той же минуты испытывать общие опасности, приключения и победы. Очень может быть, конечно, что события не всегда совпадали с точки зрения кузова и козел, и я предавался упоению победы в то самое время, как кучер чувствовал себя на краю гибели... Но это ничему, в сущности, не мешало. Разве изредка я принимался неистово палить из окон, когда кучер внезапно натягивал вожжи, привязанные к обломку дышла, – и тогда брат говорил с досадой:

– Что ты это, ей-богу!.. Ведь это гостиница... Тогда я приостанавливал пальбу, выходил из кузова и извинялся перед гостеприимным трактирщиком в причиненном беспокойстве, между тем как кучер распрягал лошадей, поил их у бадьи, и мы предавались мирному, хотя и короткому отдыху в одинокой гостинице. Однако случаи подобных разногласий бывали тем реже, что я скоро отдавался полету чистой фантазии, не требовавшей от меня внешних проявлений. Должно быть, в щелях старого кузова засели с незапамятных времен, – выражаясь по-нынешнему, – какие-то флюиды старинных происшествий, которые и захватывали нас сразу в такой степени, что мы могли молча, почти не двигаясь и сохраняя созерцательный вид, просидеть на своих местах от утреннего чая до самого обеда. И в этот промежуток от завтрака и до обеда вмещались для нас целые недели путешествий, с остановками в одиноких гостиницах, с ночлегами в поле, с длинными просеками в черном лесу, с дальними огоньками, с угасающим закатом, с ночными грозами в горах, с утренней зарей в открытой степи, с нападениями свирепых бандитов и, наконец, с туманными женскими фигурами, еще ни разу не открывавшими лица из-под густого покрывала, которых мы, с неопределенным замиранием души, спасали из рук мучителей на радость или на горе в будущем...

И все это вмещалось в тихом уголке, между садом и сараями, где, кроме бадьи, кузова и мусорной кучи, не было ничего... Впрочем, были еще лучи солнца, пригревавшие зелень сада и расцветивавшие палисадник яркими, золотистыми пятнами; были еще две доски около бадьи и широкая лужа под ними. Затем, чуткая тишина, невнятный шопот листьев, сонное чирикание какой-то птицы в кустах и... странные фантазии, которые, вероятно, росли здесь сами по себе, как грибы в тенистом месте, – потому что нигде больше мы не находили их с такой легкостью, в такой полноте и изобилии... Когда, через узкий переулочек и через крыши сараев, долетал до нас досадный призыв к обеду или к вечернему чаю, – мы оставляли здесь, вместе с пистолетами и саблями, наше фантастическое настроение, точно скинутое с плеч верхнее платье, в которое наряжались опять тотчас по возвращении.

Однако с тех пор как брату пришла оригинальная мысль вырезать кривые и узловатые ветки тополя, навязать на них белые нитки, навесить медные крючки и попробовать запустить удочки в таинственную глубину огромной бадьи, стоявшей в углу дворика, для нас на целую неделю померкли все прелести золотой кареты. Во-первых, мы садились оба, в самых удивительных позах, на верхней перекладине палисадника, углом охватывавшего бадью и у которого мы предварительно обломали верхушки балясин. Во-вторых, над нами качался серебристо-зеленый шатер тополя, переполнявший окружающий воздух зеленоватыми тенями и бродячими солнечными пятнами. В-третьих, от бадьи отделялся какой-то особенный запах, свойственный загнившей воде, в которой уже завелась своя особенная жизнь, в виде множества каких-то странных существ, вроде головастиков, только гораздо

меньше... Как ни покажется это странно, но запах этот казался нам, в сущности, приятным и прибавлял, с своей стороны, нечто к прелестям этого угла над бадьей...

В то время как мы сидели по целым часам на заборе, вглядываясь в зеленоватую воду, из глубины бадьи то и дело подымались стайками эти странные существа, напоминавшие собой гибкие медные булавки, головки которых так тихо шевелили поверхность воды, между тем как хвостики извивались под ними, точно крошечные змейки. Это был целый особый мирок, под этою зеленою тенью, и, если сказать правду, в нас не было полной уверенности в том, что в один прекрасный миг поплавок нашей удочки не вздрогнет, не пойдет ко дну и что после этого который-нибудь из нас не вытащит на крючке серебристую, трепещущую живую рыбку. Разумеется, рассуждая трезво, мы не могли бы не придти к заключению, что событие это выходит за пределы возможного. Но мы вовсе не рассуждали трезво в те минуты, а просто сидели на заборе, над бадьей, под колыхавшимся и шептавшим зеленым шатром, в соседстве с чудесной каретой, среди зеленоватых теней, в атмосфере полусна и полусказки...

Вдобавок мы не имели тогда ни малейшего понятия о назначении жизни...

II

Однажды, когда мы сидели таким образом, погруженные в созерцание неподвижных поплавок, с глазами, прикованными к зеленой глубине бадьи, – из действительного мира, то есть со стороны нашего дома, проник в наш фантастический уголок неприятный и резкий голос лакея Павла. Он, очевидно, приближался к нам и кричал:

– Паньчи, паньчи, э-эй! Идите бо до покою!

«Идти до покою», – значило идти в комнаты, что нас на этот раз несколько озадачило. Во-первых, почему это просто «до покою», а не к обеду, который в этот день действительно должен был происходить ранее обыкновенного, так как отец не уезжал на службу. Во-вторых, почему зовет именно Павел, которого посылал только отец в экстренных случаях, – тогда как обыкновенно от имени матери звала нас служанка Килимка. В-третьих, все это было нам очень неприятно, как будто именно этот несвоевременный призыв должен вспугнуть волшебную рыбу, которая как раз в эту минуту, казалось, уже плывет в невидимой глубине к нашим удочкам. Наконец Павел и вообще был человек слишком трезвый, отчасти даже насмешливый, и его излишне серьезные замечания разрушили не одну нашу иллюзию.

Через полминуты этот Павел стоял, несколько даже удивленный, на нашем дворике и смотрел на нас, сильно сконфуженных, своими серьезно выпученными и слегка глуповатыми глазами. Мы оставались в прежних позах, но это только потому, что нам было слишком совестно, да и некогда уже скрывать от него свой образ действий. В сущности же, с первой минуты появления этой фигуры в нашем мире, мы оба почувствовали с особенной ясностью, что наше занятие кажется Павлу очень глупым, что рыбу в бадьях никто не ловит, что в руках у нас даже и не удочки, а простые ветки тополя, с медными булавками, и что перед нами только старая бадья с загнившей водой.

– Э? – протянул Павел, приходя в себя от первоначального удивления. – А що се вы робите?

– Так... – ответил брат угрюмо. Павел взял из моих рук удочку, осмотрел ее и сказал:

– Разве ж это удилище? Удилища надо делать из орешника.

Потом пощупал нитку и сообщил, что нужен тут конский волос, да его еще нужно заплести умеючи; потом обратил внимание на булавочные крючки и объяснил, что над таким крючком, без зазубрины, даже и в пруду рыба только смеется. Стащит червяка и уйдет. Наконец, подойдя к бадье, он тряхнул ее слегка своей сильной рукой. Неизмеримая глубина нашего зеленого омута колыхнулась, помутнела, фантастические существа жалобно заматались и исчезли, как бы сознавая, что их мир колеблется в самых устоях. Обнажилась часть дна, – простые доски, облипшие какой-то зеленой мутью, – а снизу поднялись пузыри и сильный запах, который на этот раз и нам показался уже не особенно приятным.

– Воняет, – сказал Павел презрительно. – От, идите до покою, пан кличе.

– Зачем?

– Идите, то и побачите.

Я и до сих пор очень ясно помню эту минуту столкновения наших иллюзий с трезвою действительностью в лице Павла. Мы чувствовали себя совершенными дураками, нам было совестно оставаться на верхушке забора, в позах рыбаков, но совестно также и слезать под серьезным взглядом Павла. Однако делать было нечего. Мы спустились с забора, бросив удочки как попало, и тихо побрели к дому. Павел еще раз посмотрел удочки, пощупал пальцами размокшие нитки, повел носом около бадьи, в которой вода все еще продолжала бродить и пускать пузыри, и, в довершение всего, толкнул ногой старый кузов. Кузов как-то жалко и беспомощно крякнул, шевельнулся, и еще одна доска вывалилась из него в мусорную кучу...

Таковы были обстоятельства, предшествовавшие той минуте, когда нашему юному вниманию предложен был афоризм о назначении жизни и о том, для чего, в сущности, создан человек...

III

У крыльца нашей квартиры, на мощеном дворе, толпилась куча народа. На нашем дворе было целых три дома, один большой и два флигеля. В каждом жила особая семья, с соответствующим количеством дворни и прислуги, не считая еще одиноких жильцов, вроде старого холостяка пана Уляницкого, нанимавшего две комнаты в подвальном этаже большого дома. Теперь почти все это население высыпало на двор и стояло на солнопеке, у нашего крыльца. Мы испуганно переглянулись с братом, разыскивая в своем прошлом какой-нибудь проступок, который подлежал бы такому громкому и публичному разбирательству. Однако отец, сидевший на верхних ступеньках, среди привилегированной публики, по-видимому, находился в самом благодушном настроении. Рядом с отцом вилась струйка синего дыма, что означало, что тут же находится полковник Дударов, военный доктор. Немолодой, расположенный к полноте, очень молчаливый, он пользовался во дворе репутацией человека необыкновенно ученого, а его молчаливость и бескорыстие снискали ему общее уважение, к которому примешивалась доля страха, как к явлению, для среднего обывателя не вполне понятному... Иногда, среди других фантазий, мы любили воображать себя доктором Дударовым, и если я замечал, что брат сидит на крыльце или на скамейке, с вишневой палочкой в зубах, медленно раздувает щеки и тихо выпускает воображаемый дым, – я знал, что его не следует тревожить. Кроме вишневой палочки, требовалось еще особенным образом наморщить лоб, отчего глаза сами собой немного тускнели, становились задумчивы и как будто печальны. А затея уже можно было сидеть на солнце, затягиваться воображаемым дымом из вишневой ветки и думать что-то такое особенное, что, вероятно, думал про себя добрый и умный доктор, молча подававший помощь больным и молча сидевший с трубкой в свободное время. Какие это собственно были мысли, сказать трудно; прежде всего они были важны и печальны, а затем, вероятно, все-таки довольно приятны, судя по тому, что им можно было предаваться подолгу...

Кроме отца и доктора, среди других лиц, мне бросилось в глаза красивое и выразительное лицо моей матери. Она стояла в белом переднике, с наверхнутыми рукавами, очевидно, только что оторванная от вечных забот по хозяйству. Нас у нее было шестеро, и на ее лице ясно виднелось сомнение: стоило ли выходить сюда в самый разгар хлопотливого дня. Однако скептическая улыбка видимо сплывала с ее красивого лица, и в синих глазах уже мелькало какое-то испуганное сожаление, обращенное к предмету, стоявшему среди толпы, у крыльца...

Это была небольшая, почти игрушечная телега, в которой как-то странно, странно почти до болезненного ощущения от этого зрелища, – помещался человек. Голова его была большая, лицо бледно, с подвижными, острыми чертами и большими, пронзительными бегающими глазами. Туловище было совсем маленькое, плечи узкие, груди и живота не было видно из-под широкой, с сильной проседью бороды, а руки я напрасно разыскивал испуганными глазами, которые, вероятно, были открыты так же широко, как и у моего брата. Ноги странного существа, длинные и тонкие, как будто не умещались в тележке и стояли на земле, точно длинные лапки паука. Казалось, они принадлежали одинаково этому человеку, как и тележке, и все вместе каким-то беспокойным, раздражающим пятном рисовалось под ярким солнцем, точно в самом деле какое-то паукообразное чудовище, готовое внезапно кинуться на окружившую его толпу.

– Идите, идите, молодые люди, скорее. Вы имеете случай увидеть интересную игру природы, – фальшиво-ласкающим-голосом сказал нам пан Уляницкий, проталкиваясь за нами через толпу.

Пан Уляницкий был старый холостяк, появившийся на нашем дворе бог весть откуда. Каждое утро, в известный час и даже в известную минуту, его окно открывалось, и из него появлялась сначала красная ермолка с кисточкой, потом вся фигура в халате... Кинув беспокойный взгляд на соседние окна (нет ли где барышень), – он быстро выходил из окна, прикрывая что-то полый халата, и исчезал за углом. В это время мы стремглав кидались к окну, чтобы заглянуть в его таинственную квартирку. Но это почти никогда не удавалось, так как Уляницкий быстро, как-то крадучись, появлялся из-за угла, мы кидались врассыпную, а он швырял в нас камнем, палкой, что попадало под руку. В полдень он появлялся одетым с иголки и очень любезно, как ни в чем не бывало, заговаривал с нами, стараясь навести разговор на живших во дворе невест. В это время в голосе его звучала фальшивая ласковость, которая всегда как-то резала нам уши...

– Уважаемые господа, обыватели и добрые люди! – заговорил вдруг каким-то носовым голосом высокий субъект с длинными усами и беспокойными, впалыми глазами, стоявший рядом с тележкой. – Так как, по-видимому, с прибытием этих двух молодых людей, дай им бог здоровья на радость почтенным родителям... все теперь в сборе, то я могу объяснить уважаемой публике, что перед нею находится феномен, или, другими словами, чудо природы, шляхтич из Заславского повета, Ян Криштоф Залуский. Как видите, у него совершенно нет рук и не было от рождения.

Он скинул с феномена курточку, в которую легко было бы одеть ребенка, потом растегнул ворот рубахи. Я зажмурился, – так резко и болезненно ударило мне в глаза обнаженное уродство этих узких плеч, совершенно лишенных даже признаков рук.

– Видели? – повернулся долгоусый к толпе, отступая от тележки, с курткой в руках. – Без обману... – добавил он, – без всякого ощуканьства... – И его беспокойные глаза бежали публике с таким видом, как будто он не особенно привык к доверию со стороны своих ближних.

– И, однако, уважаемые господа, сказанный феномен, родственник мой, Ян Залуский – человек очень просвещенный. Голова у него лучше, чем у многих людей с руками. Кроме того, он может исполнять все, что обыкновенные люди делают с помощью рук. Ян, прошу тебя покорно: поклонись уважаемым господам.

Ноги феномена пришли в движение, причем толпа шарахнулась от неожиданности. Не прошло и нескольких секунд, как с правой ноги, при помощи левой, был снят сапог. Затем нога поднялась, захватила с головы феномена большой порыжелый картуз, и он с насмешливой галантностью приподнял картуз над головой. Два черных внимательных глаза остро и насмешливо впились в уважаемую публику.

– Господи боже!.. Иисус-Мария... Да будет похвалено имя господне, пронеслось на разных языках в толпе, охваченной брезгливым испугом, и только один лакей Павел загоготал в заднем ряду так нелепо и громко, что кто-то из дворни счел нужным толкнуть его локтем в бок. После этого все стихло. Черные глаза опять внимательно и медленно прошли по нашим лицам, и феномен произнес среди тишины ясным, хотя слегка дребезжавшим голосом:

– Обойди!

Долгоусый субъект как-то замялся, точно считал приказ преждевременным. Он кинул на феномена нерешительный взгляд, но тот, уже раздраженно, повторил:

– Ты глуп... обойди!..

Полковник Дударов пустил клуб дыма и сказал:

– Однако, почтенный феномен, вы, кажется, начинаете с того, чем надо кончать.

Феномен быстро взглянул на него, как будто с удивлением, и затем еще настойчивее повторил долгоусому:

– Обойди, обойди!

Мне казалось, что феномен посылает долгоусого на какие-то враждебные действия. Но тот только снял с себя шляпу и подошел к лестнице, низко кланяясь и глядя как-то вопросительно, как бы сомневаясь. На лестнице более всего подавали женщины; на лице матери я увидел при этом такое выражение, как будто она все еще испытывает нервную дрожь; доктор тоже бросил монету. Уляницкий смерил долгоусого негодующим взглядом и затем стал беспечно смотреть по сторонам. Среди дворни и прислуги не подал почти никто. Феномен внимательно следил за сбором, потом тщательно пересчитал ногами монеты и поднял одну из них кверху, иронически поклонившись Дударову.

– Пан доктор... Очень хорошо... благодарю вас. Дударов равнодушно выпустил очень длинную струйку дыма, которая распустилась султаном на некотором расстоянии, но мне почему-то показалось, что ему досадно или он чего-то слегка застыдился.

– А! то есть удивительное дело, – сказал своим фальшивым голосом пан Уляницкий, – удивительно, как он узнал, что вы – доктор (Дударов был в штатском пиджаке и белом жилете с медными пуговицами).

– О! Он знает прошедшее, настоящее и будущее, а человека видит насквозь, сказал с убеждением долгоусый, почерпнувший, по-видимому, значительную долю этой уверенности в удачном первом сборе.

– Да, я знаю прошедшее, настоящее и будущее, – сказал феномен, поглядев на Уляницкого, и затем сказал долгоусому: – Подойди к этому пану... Он хочет положить монету бедному феномену, который знает прошедшее каждого человека лучше, чем пять пальцев своей правой руки...

И все мы с удивлением увидели, как пан Уляницкий с замешательством стал шарить у себя в боковом кармане. Он вынул медную монету, подержал ее в тонких, слегка дрожавших пальцах с огромными ногтями и... все-таки опустил ее в шляпу.

– Теперь продолжай, – сказал феномен своему провожатому. Долгоусый занял свое место и продолжал:

– Я вожу моего бедного родственника в тележке потому, что ходить ему очень трудно. Бедный Ян, дай я тебя подыму...

Он помог феномену подняться. Калека стоял с трудом, – огромная голова подавляла это тело карлика. На лице виднелось страдание, тонкие ноги дрожали. Он быстро опустил ся опять в свою тележку.

– Однако он может передвигаться и сам. Колеса тележки вдруг пришли в движение, дворня с криком расступилась; странное существо, перебирая по земле ногами и еще более походя на паука, сделало большой круг и опять остановилось против крыльца. Феномен побледнел от усилия, и я видел теперь только два огромных глаза, глядевших на меня с тележки...

– Ногами он чешет у себя за спиной и даже совершает свой туалет.

Он подал феномену гребенку. Тот взял ее ногой, проворно расчесал широкую бороду и, опять поискавши глазами в толпе, послал ногой воздушный поцелуй экономке домовладелицы, сидевшей у окна большого дома с несколькими «комнатными барышнями». Из окна послышался визг, Павел фыркнул и опять получил тумака.

– Наконец, господа, ногою он крестится. Он сам скинул с феномена фуражку. Толпа затихла. Калека поднял глаза к небу, на мгновение лицо его застыло в странном выражении. Напряженная тишина еще усилилась, пока феномен с видимым трудом поднимал ногу ко лбу, потом к плечам и груди. В задних рядах послышался почти истерический женский плач. Между тем феномен кончил, глаза его еще злее прежнего обежали по лицам публики, и в тишине резко прозвучал усталый голос:

– Обойди!

На этот раз долгоусый обратился прямо к рядам простой публики. Вздыхая, порой крестясь, кой-где со слезами, простые люди подавали свои крохи, кучера заворачивали полы кафтанов, кухарки наскоро сбегали по кухням и, проталкиваясь к тележке, совали туда свои подаяния. На лестнице преобладало тяжелое, не совсем одобрительное молчание. Впоследствии я замечал много раз, что простые сердца менее чутки к кошунству, хотя бы только слегка прикрытому обрядом.

– Пан доктор?.. – вопросительно протянул феномен, но, видя, что Дударов только насупился, он направил долгоусого к Уляницкому и напряженно, с какой-то злостью следил за тем, как Уляницкий, видимо, против воли, – положил еще монету.

– Извините, – повернулся вдруг феномен к моей матери... – Человек кормится, как может.

В его голосе была какая-то особенная, жалкая нота. Доктор вдруг выпустил бесконечную струйку синего дыма и, вынув серебряную монету, кинул ее на мостовую. Феномен поднял ее, поднес ко рту и сказал:

– Пан доктор, я отдам это первому бедняку, которого встречу... Поверьте слову Яна Залуского. Ну, что же ты стал, продолжай, – накинулся он вдруг на своего долгоусого провожатого.

Впечатление этой сцены еще некоторое время держалось в толпе, пока феномен принимал ногами пищу, снимал с себя куртку и вдевал нитку в иглу.

– Наконец, уважаемые господа, – провозгласил долгоусый торжественно, ногами он подписывает свое имя и фамилию.

– И пишу поучительные афоризмы, – живо подхватил феномен. – Пишу поучительные афоризмы всем вообще или каждому желающему порознь, ногами, за особую плату, для душевной пользы и утешения. Если угодно, уважаемые господа. Ну, Матвей, доставай канцелярию.

Долгоусый достал из сумки небольшую папку, феномен взял ногой перо и легко написал на бумаге свою фамилию:

«Ян Криштоф Залуский, шляхтич-феномен из Заславского повета».

– А теперь, – сказал он, насмешливо поворачивая голову, – кому угодно получить афоризм!?. Поучительный афоризм, уважаемые господа, от человека, знающего настоящее, прошедшее и будущее.

Острый взгляд феномена пробежал по всем лицам, останавливаясь то на одном, то на другом, точно гвоздь, который он собирался забить глубоко в того, на ком остановится его выбор. Я никогда не забуду этой немой сцены. Урод сидел в своей тележке, держа гусиное перо в приподнятой правой ноге, как человек, ожидающий вдохновения. Было что-то цинически карикатурное во всей его фигуре и позе, в саркастическом взгляде, как будто искавшем в толпе свою жертву. Среди простой публики взгляд этот вызывал тупое смятение, женщины прятались друг за друга, то смеясь, то как будто плача. Пан Уляницкий, когда очередь дошла до него, растерянно улыбнулся и выразил готовность достать из кармана еще монету. Долгоусый проворно подставил шляпу... Феномен обменялся взглядом с моим отцом, скользнул мимо Дударова, почтительно поклонился матери, и внезапно я почувствовал этот взгляд на себе...

– Подойди сюда, малец, – сказал он, – и ты тоже, – позвал он также брата.

Все взгляды обратились на нас с любопытством или сожалением. Мы рады были бы провалиться сквозь землю, но уйти было некуда; феномен пронизывал нас черными глазами, а отец смеялся.

– Ну, что ж, ступайте, – сказал он таким тоном, каким порой приказывал идти в темную комнату, чтобы отучить от суеверного страха.

И мы оба вышли с тем же чувством содрогания, с каким, исполняя приказ, входили в темную комнату... Маленькие и смущенные, мы остановились против тележки, под взглядом странного существа, смеявшимся нам навстречу. Мне казалось, что он сделает над нами что-то такое от чего нам будет после стыдно всю жизнь, стыдно в гораздо большей степени, чем в ту минуту, когда мы слезали с забора под насмешливым взглядом Павла... Может быть, он расскажет... но что же? Что-нибудь такое, что я сделаю в будущем, и все будут смотреть на меня с таким же содроганием, как несколько минут назад при виде его уродливой наготы... Глаза мои застилались слезами, и, точно сквозь туман, мне казалось, что лицо странного человека в тележке меняется, что он смотрит на меня умным, задумчивым и смягченным взглядом, который становится все мягче и все страннее. Потом он быстро заскрипел пером, и его нога протянулась ко мне с белым листком, на котором чернела ровная, красивая строчка. Я взял листок и беспомощно оглянулся кругом.

– Прочитай, – сказал, улыбаясь, отец.

Я взглянул на отца, потом на мать, на лице которой виднелось несколько тревожное участие, и механически произнес следующую фразу:

– «Человек создан для счастья, как птица для полета»...

Я не сразу понял значение афоризма и только по благодарному взгляду, который мать кинула на феномена, понял, что все кончилось для нас благополучно. И тотчас же опять раздался еще более прежнего резкий голос феномена:

– Обойди!

Долгоусый грациозно кланялся и подставлял шляпу. На этот раз, я уверен, больше всех дала моя мать. Уляницкий эмансипировался и только величественно повел рукой, показывая, что он и без того был слишком великодушен. Последним кинул монету в шляпу мой отец.

– Хорошо сказано, – засмеялся он при этом, – только, кажется, это скорее парадокс, чем поучительный афоризм, который вы нам обещали.

– Счастливая мысль, – насмешливо подхватил феномен. – Это афоризм, но и парадокс вместе. Афоризм сам по себе, парадокс в устах феномена... Ха-ха! Это правда... Феномен тоже человек, и он менее всего создан для полета...

Он остановился, в глазах его мелькнуло что-то странное, – они как будто затуманились...

– И для счастья тоже... – прибавил он тише, как будто про себя. Но тотчас же взгляд его сверкнул опять холодным открытым цинизмом. – Га! – сказал он громко, обращаясь к долгоусому. – Делать нечего, Матвей, обойди почтенную публику еще раз.

Долгоусый, успевший надеть свою шляпу и считавший, по-видимому, представление законченным, опять замялся. По-видимому, несмотря на сильно помятую фигуру и физиономию, не внушавшую ни симпатии, ни уважения, в этом человеке сохранялась доля застенчивости. Он нерешительно смотрел на феномена.

– Ты глуп! – сказал тот жестко. – Мы получили с уважаемых господ за афоризм, а тут оказался еще парадокс... Надо получить и за парадокс... За парадокс, почтенные господа!.. За парадокс бедному шляхтичу-феномену, который кормит ногами многочисленное семейство...

Шляпа обошла еще раз по крыльцу и по двору, который к тому времени наполнился публикой чуть не со всего переулка.

IV

После обеда я стоял на крыльце, когда ко мне подошел брат.

– Знаешь что, – сказал он, – этот... феномен... еще здесь.

– Где?

– В людской. Мама позвала их обоих обедать... И долгоусый тоже. Он его кормит с ложки...

В эту самую минуту из-за угла нашего дома показалась худощавая и длинная фигура долгоусого. Он шел, наклонясь, с руками назад, и тащил за собою тележку, в которой сидел феномен, подобравши ноги. Проезжая мимо флигелька, где жил военный доктор, он серьезно поклонился по направлению к окну, из которого поспыхивал по временам синий дымок докторской трубки, и сказал долгоусому: «Ну, ну, скорее!» Около низких окон Ульяницкого, занавешенных и уставленных геранью, он вдруг зашевелился и крикнул:

– До свиданья, благодетель... Я знаю прошедшее, настоящее и будущее, как пять пальцев моей правой руки... которой у меня, впрочем, нет... ха-ха! Которой у меня нет, милостивый мой благодетель... Но это не мешает мне знать прошедшее, настоящее и будущее!

Затем тележка выкатилась за ворота...

Как будто сговорившись, мы с братом бегом обогнули флигель и вышли на небольшой задний дворик за домами. Переулок, обогнув большой дом, подходил к этому месту, и мы могли здесь еще раз увидеть феномена. Действительно, через полминуты в переулке показалась долговзая фигура, тащившая тележку. Феномен сидел, опустившись. Лицо у него казалось усталым, но было теперь проще, будничнее и приятнее.

С другой стороны, навстречу, в переулок вошел старый нищий с девочкой лет восьми. Долгоусый кинул на нищего взгляд, в котором на мгновение отразилось беспокойство, но тотчас же он принял беззаботный вид, стал беспечно глядеть по верхам и даже как-то некстати и фальшиво затянул вполголоса песню. Феномен наблюдал все эти наивные эволюции товарища, и глаза его искрились саркастической усмешкой.

– Матвей! – окликнул он, но так тихо, что долгоусый только прибавил шагу.

– Матвей!

Долгоусый остановился, посмотрел на феномена и как-то просительно произнес:

– А! Ей-богу, глупство!..

– Доставай, – кратко сказал феномен.

– Ну!

– Доставай.

– Ну-у? – совсем жалобно протянул долгоусый, однако полез в карман.

– Не там, – сказал холодно феномен. – Сороковец доктора у тебя в правом кармане...

Дедушка, постой на минуту.

Нищий остановился, снял шляпу и уставился в него своими выцветшими глазами. Долгоусый, с видом человека, смертельно оскорбленного, достал серебряную монету и кинул в шляпу старика.

– Дьявол вас тут носит, дармоедов, – пробормотал он, принимаясь опять за дышло. Нищий кланялся, держа шляпу в обеих руках. Феномен захохотал, откинув голову назад... Тележка двинулась по переулку, приближаясь к нам.

– А ты сегодня в добром гумбре, – угрюмо и язвительно сказал долгоусый.

– А что? – с любопытством сказал феномен.

– Так... пишешь приятные афоризмы и раздаешь голодранцам по сороковцу... Какой, подумают люди, счастливец!

Феномен захохотал своим резким смехом, от которого у меня что-то прошло по спине, и потом сказал:

– Ха! Надо себе позволить иногда... притом же ничего не потеряли... Ты видишь, и приятные афоризмы иногда делают сбор. У тебя две руки, но твоя голова ничего не стоит, бедный Матвей!.. Человек создан для счастья, только счастье не всегда создано для него. Понял? У людей бывают и головы, и руки. Только мне забыли приклеить руки, а тебе по ошибке поставили на плечи пустую тыкву... Ха! Это неприятно для нас, однако не изменяет общего правила...

Под конец этой речи неприятные ноты в голосе феномена исчезли, и в лице появилось то самое выражение, с каким он писал для меня афоризм. Но в эту минуту тележка поровнялась с тем местом, где мы стояли с братом, держась руками за балясины палисадника и уткнув лица в просветы. Заметив нас, феномен опять захохотал неприятным смехом.

– А! лоботрясы! Пришли еще раз взглянуть на феномена бесплатно? Вот я вас тут! У меня есть такие же племянники, я кормлю и секу их ногами... Не хотите ли попробовать?.. Это очень интересно. Ха-ха-ха! Ну, бог с вами, не трону... Человек создан для счастья. Афоризм и парадокс вместе, за двойную плату... Кланяйтесь доктору от феномена и скажите, что человеку надо кормиться не тем, так другим, а это трудно, когда природа забыла приклеить руки к плечам... А у меня есть племянники, настоящие, с руками... Ну, прощайте и помните: человек создан для счастья...

Тележка покатила, но уже в конце переулка феномен еще раз повернулся к нам, кивнул головой кверху, на птицу, кружившуюся высоко в небе, и крикнул еще раз:

– Создан для счастья. Да, создан для счастья, как птица для полета.

Затем он исчез за углом, а мы с братом долго еще стояли, с лицами между балясин, и смотрели то на пустой переулок, то на небо, где, широко раскинув крылья, в высокой синеве, в небесном просторе, вся залитая солнцем, продолжала кружиться и парить большая птица...

А потом мы пошли опять в свой угол, добыли удочки и принялись было в молчании поджидать серебристую рыбу в загнившей бадье...

Но теперь это почему-то не доставляло нам прежнего удовольствия. От бадьи несло вонью, ее глубина потеряла свою заманчивую таинственность, куча мусора, как-то скучно освещенная солнцем, как бы распалась на свои составные части, а кузов казался дрянной старой рухлядью-Ночью оба мы спали плохо, вскрикивали и плакали без причины. Впрочем, причина была: в дремоте обоим нам являлось лицо феномена и его глаза, то холодные и циничные, то подернутые внутренней болью...

Мать вставала и крестила нас, стараясь этим защитить своих детей от первого противоречия жизни, острой занозой вонзившегося в детские сердца и умы...

1894

Примечания

Рассказ написан в 1894 году, по-видимому в течение одного дня. В записной книжке Короленко под 11 апреля этого года записано: «Написал рассказ». Та же дата поставлена в конце черновой рукописи рассказа. Рукопись написана почти без помарок. «Парадокс» впервые появился в печати в том же году в майской книжке журнала «Русское богатство».

В сентябре 1894 года Короленко писал сестре своей жены, П. С. Ивановской: «Вы меня немного пожурили за знак вопроса в «Парадоксе». В отдельном издании – выскажу свою мысль яснее, а пока Вам лично скажу, что этот рассказ явился для меня самого неожиданным результатом всего, что пришлось пережить в последнее время. Я вообще человек не унылый и не пессимист. Но смерть моей Лели (маленькой дочери Короленко, умершей во время его путешествия в Америку, в 1893 году. – Ред.) так меня пришибла, что я никогда, в самые тяжелые минуты моей жизни, не чувствовал себя до такой степени изломанным, разбитым и ничтожным. Жизнь вообще, в самых мелких и самых крупных своих явлениях, кажется мне проявлением общего великого закона, главные основные черты которого – добро и счастье. А если нет счастья? Ну что ж, исключение не опровергает правила. Нет своего – есть чужое, а все-таки общий закон жизни есть стремление к счастью и все более широкое его осуществление. Только это я и пытался сказать своим парадоксом, но собственная моя душа в это время была еще так же изломана, как мой несчастный философ. И потому эта, сама по себе простая и не пессимистическая мысль оказалась как-то произвольно с такими пессимистическими придатками, что в общем выводе рождает недоумение и вопрос. Повторяю, – впоследствии я скажу все это яснее, и впечатление, думаю, выйдет более цельным».

Но существенной переработке при повторных изданиях «Парадокс» не подвергался, изменено было только окончание рассказа. Первоначально он заканчивался так: «И много раз еще мы сидели над этой бадьей и путешествовали в старом кузове, и много раз впоследствии случалось нам предаваться таким же неумным занятиям в течение жизни и чувствовать себя такими же дураками, как в ту минуту, когда Петр застал нас с удочками на заборе. И не раз мне казалось, что за плечами у меня вырастают крылья, а потом я чувствовал себя беспомощным, разбитым и бессильным, как червяк, раздавленный в дорожной пыли. Бывали безумные удачи и постыдные поражения, сердце не раз трепетало от восторга и сжималось смертельной тоской, мир раскрывался навстречу моим надеждам и замыкался четырьмя стенами душной тюрьмы... Но никогда с тех пор я не забывал странного афоризма, написанного ногами парадоксального счастливица, которого голос и до сих пор упрямо звучит в памяти с такую же ясностью, как и в первую минуту.

– Человек создан для счастья, как птица для полета...»

Подготовка текста и примечания: С.Л. Короленко и Н.В. Короленко-Ляхович

